

Геннадий ПРАШКЕВИЧ

ЗОЛОТОЙ ДЫМ

Стихи Лиде

**Издательство
Клуба Русских Писателей Нью-Йорка**

2018

Геннадий Прашкевич
Золотой дым. Стихотворения
Нью-Йорк 2018 – 76 с.

Gennadij Peashkevich
Poems
The Russian Writers' Club Publishing House
New York 2018 – 76 p.

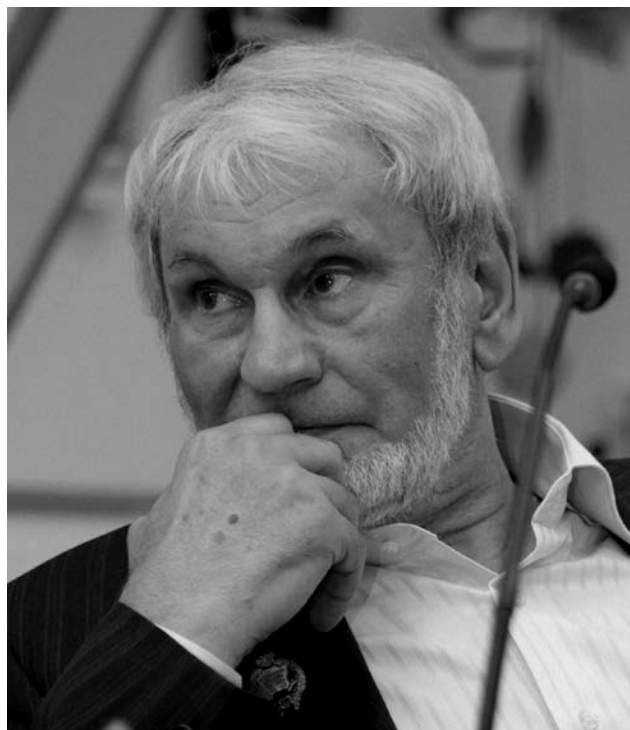
Геннадий Прашкевич – поэт, прозаик, переводчик. Родился 16 мая 1941 года в Сибири. Книги его (поэтические и прозаические) выходили в России, в других странах. Лауреат различных литературных премий – как российских, так и международных. В честь Геннадия Прашкевича российские энтомологи назвали новый вид бабочки (изображена на обложке книги) – *Strigocossus prashkevici*. Сам Геннадий Прашкевич считает это самой почетной наградой из всех, какие он когда-либо получал.

ISBN 0-929924-96-7

© Геннадий Прашкевич
© Михаил Мазель, оформление, 2018

All right reserved. No part of this book
may be reproduced or transmitted in
any form or by any means without
permission in writing from the author.

Printed in the United States of America
New York
2018





(Из письма Евгению Любину)
вместо вступления

Родился на Енисее (Сибирь).
Живу (несколько десятилетий) в
новосибирском Академгородке.
Видел разные края, перечислять не буду.
Одинокие северные народы близки мне.
Юкагиры, долгане, шоромбойские мужики,
чюхчи, ламуты. Зимой – зеленоватые отсветы
северного сияния, летом – бескрайние облака
задавного гнуса. Одинокие кочевки.
Отсутствие времени. Но на волшебные сказки
жители тундры всегда были не меньшие
мастера, чем древние греки.
Всё остальное – литература.

Новосибирск, 2018

Гулёна

Село обиженно ворчит:
«Гулёна».

А воздух к вечеру горчит,
как листья клена.
А воздух к вечеру, что тишь
тишайшей ночи.
Ты улыбаешься, не спишь,
не хочешь.

Твой голос тих,
твой голос чист,
твой волос светел.
И за окном твоим горнист
расправил плечи.
Он задыхается, поет,
а листья клена
дыханьем осени несет,
ведь ты –
гулёна.

Я знаю, чем я оплачу
наш август долгий,
когда дожди по сентябрю
вонзят иголки
в шары оранжевых рябин,
и в листья клена,
и в шёпоты твоих рабынь:
«Гулёна...»

* * *

Как тебе аукнется,
так ему откликнется.
Как тебе покажется,
так ему увидится.

Звезды.
Ночь.
Сумятица.
Ветер.
Поздний час.

Горы не сдвигаются,
губы не стираются,
недостаток нежности
убивает нас.

* * *

О, как ты боролась с большим моим ростом,
вставала на цыпочки, приподнималась,
и радугой нежных огней загоралась,
моля опуститься и сжалиться звезды.

Но что-то мешало, но что-то толкало,
какие-то грузы ложились на плечи,
слова не решались стать явною речью,
все путалось, плыло, томило, алкало.

О, как ты пыталась бороться со снами,
как плакала, пела, текла с облаками,
и лунные блики, стеклянно позвякивая,
в листве многоликой сияли над нами.

И что было легче? В тебе себя спрятать?
Остаться собою? Приблизить мороз?
Иль все же расти, чтобы падать и плакать?

Я падал и плакал.
И все-таки рос.

Провинция

В сапогах.
Смеясь и плача.
По канавам. Между луж.
Под гармошку. Перед брачной
Ночью. Ходит пьяный муж.

И пускается вприсядку,
под ногами мрёт трава.
Лица – маски,
лица – всмятку,
аж кружится голова.

А жена в причёске ветра,
синий ситец на груди,
до отчаяния светлый
глаз косит.

Словно грабят, а невесту увели.
Пляшут бабы в луже мутной, бьются
рыбой на мели.

Как тимпан большая ванна, ржа с нее
летит.
Пот с лица стирая пьяный, пьяный дед
свистит.

Пляшут бабы. С визгом – мимо.
Будет сладок стон счастливых.

Таёт свадьба, удаляясь
важно.

Я молчу и восхищаюсь:
страшно!

Петропавловск летом 1959 года

Рыжие домишки,
мазутные пути.
Оравую воришек
клубятся воробьи.

Зачем-то элѐфанты
стоят в аллее бусой.
Дымы висят как банты
и фонари как бусы.

*Еркектер туалети
и айелдыр.*

Немного же на свете
подобных дыр.

Камыш, сухая кашка, -
кого пасти?
Любезная казашка,
меня прости.

Сквозь пыль, столоверчение,
сквозь дым и чад,
меня как бы в свечение
уже кричат.

И тонкою синицею
Свисток в пути:
«Оставь меня, провинция!
Не дай уйти!»

Астерикс

Преломляются лучи света,
в острых гранях, как огонь, блещут.

Замечательная вещь – лето,
замечательно любить вещи.

Над водою рыжий лист кружит,
нет ни слов, ни души, ни воли.

От восторга и любви ужас
проступает, как налет соли.

Солнце пляшет на углах камня,
разбиваются лучи света.

Это долгая, как век, память,
это краткое, как час, лето.

И сгорает в яростном сонме,
падает, как в каменоломню,
эхо дальше: Помни... Помни...
отзвук, бьющийся: Помню... Помню...

Ли Тай-бо

Сед, как зимние метели,
говорлив, как старый кран,
был он пьян семь дней в неделю,
и еще немного пьян.

Ночь, луна, глухие парки,
пара кисточек и тушь –
все смешалось, как подарки
добрых душ.

А потом глухие ночи,
когда ноет голова,
и сбываются пророчеств
сумасшедшие слова.

И распавшиеся кольца,
кольца, кольца по воде.

Кто наклонится,
напьется,
посочувствует беде?

И расходятся китайцы,
вслух дивясь:
«При чем здесь мы?»

Утонул, поймать пытаюсь
отражение Луны.

Стихи Байрону

Как странно. Разве я любил
его стихи? Когда?
Без имени его я плыл
в Элладу, и вода
катилась медленно. Потом
Пирей, глухой причал.
Потом какой-то толстый том
и со страниц – печаль.
Потом опять текла вода,
и в прошлом
древний край.

*Прощай. И если навсегда,
то навсегда прощай.*

Как странно. Разве я любил
его стихи? Когда?
Я долго жил, я вечно жил,
и годы, как вода,
катились медленно. Потом...
Не помню, что потом...
Быть может, сад,
быть может, дом,
а может, снова том.
И где они – вода, года
и тот далекий край?

*Прощай. И если навсегда,
то навсегда прощай.*

Как странно. Разве я любил
его стихи? Когда?
Из многих рек я воду пил,
вкусна была вода,
была прозрачна, а потом...
Что толку вспоминать?
Достаточно: был толстый том,
на нем была печать.
А за печатью – дым, года,
далекий белый край.

*Прощай. И если навсегда,
то навсегда прощай.*

Как странно, разве я любил
его стихи? Когда?
Фонтан в Афинах ночью бил,
вставала ввысь вода.
И удивленье, и вопрос:
«Как? Разве это он?»
И оказалось, что я рос
Всю жизнь его стихом.
И оказалось, что года
полны им через край.

*Прощай. И если навсегда,
то навсегда прощай.*

Возвращение

Но исходив тропу забытую,
изведав боль, изведав ласку,
мы возвращаемся в закрытую
для посторонних взглядов сказку,

где за плетеными портьерами
переплелись любовь и мука,
где недоверием проверены
сомненья кавалера Глюка,

где только самое случайное
является самим собой
в счастливых словосочетаниях,
оправданных самой судьбой.

Встреча с Назымом Хикметом

В деревне, погруженной в осень
и в меланхолию собак,
на чердаках хранили просо,
муку, жестянки и табак.
Но длинной вытянувшись лентой,
она гордилась шкурой мхов,
и недокуренной кем-то
дешевой книжкой стихов,
в которой сквозь листву сырую
слова рыдали на меня:

*Я болен. Я тебя ревную.
Прости
меня.*

* * *

О, эта деревня стоила всех чудес -
лампа в окне, сугроб, в ночь - коромысло дыма.
Прямо в дворы вбегал мшелый и вечный лес.
Летом – печаль дождя.
Осенью – запах тмина.

О, эта деревня стоила детских лет –
тайны замшелых троп, гомон глухих речушек.
Сколько имен, о которых не ведал свет!
Сколько снегов, вылетающих, как из пушек!

Годы идут, но там лампа горит, маня,
ищет меня, зовет, теплится из потемок.
Может быть, до сих пор женщина ждет меня,
но броду нет на реке,
а лед над теченьем
тонок.

* * *

Промолчит лес,
промолчит снег,
промолчит грусть.
Не дойдет весть,
пропадет след,
будет лес пуст.
Будут снег, наст,
звездопад глаз,
белый дым из труб.

У тебя гостят,
у тебя грустят
и хотят губ.

По лесам снег,
по глазам снег,
снегопад рад.
Потеряв след,
берега рек
сберегут клад.
Тебе всё простят,
тебя все простят,
и – меня прости.

У тебя гостят,
у тебя грустят,
мир в твой горсти.

* * *

Тишина не ушла.
Тяжелее ста гирь,
навалилась, дыша
на подушку, Сибирь.

Возвращалась с охоты
и застала меня.
Я не думал, что кто-то
мог бояться огня.

Оказалось - возможно.
Нет правдивых начал,
если начал со лжи,
а потом промолчал.

Окружила Сибирь,
а седая метель
ночь истерла до дыр
и продула сирень.

Но сирень, как боец,
свою жизнь отстояла.

Я не верю в конец,
если было начало.

* * *

Темно. Трава.
Фигуры пней.
Вопит сова,
а вслед за ней
вопят опять:
«Опять полпятого!»

Ночь стынет в листьях,
а я иду,
и тонким свистом
зову сову.

Шныряют тени,
как кошки ночи.
Я верил этим
слепым пророчествам
и вышел
к морю.

Шуршащим следом
песок тревожу,
а море бредит
о лунных грошах,
и на причале
живет печаль.
Волна качает плечами тали,
раскинув всюду
свою вуаль.

Скользя по гальке
смоленным днищем
большие лодки скрипуче дышат,
а куст рябины
не опалим.

Во тьме маячат,
как свечи, мачты,
туман, как дым.

Я возвращаюсь.
В лесу опять
вопят: «Полпятого!
Опять полпятого!»

В проливах ночи
я шел без лота.
Ну что ж, допустим.

Я заработал
немного грусти.

* * *

Холод трогает суставы
и кружится голова,
а на стеклах прорастает
непонятная трава.

Но реальной всех растений
и сумятицы в крови
моментальные, как тени,
руки тонкие твои.

Пусть в глухой неразберихе
нужный жест не оценён,
за окном бело и тихо,
там пушной аукцион.

Там следят паркет истертый
башмаки смещенных лиц,
а в канавах тонут гордо
отраженья нищих птиц.

Там стареют почтальоны,
телеграммы разнося,
восседает ночь на троне,
фонарей лучи гася.

Там почти неуловима
разница: минута... век...

Но оттуда твое имя
нашептал мне белый снег.

* * *

О, я без вас
схожу с ума!
Моя судьба -
моя сума.
Но всё, что есть
в моей суме,
принадлежит
уже не мне.

Я прихожу
и говорю:
«Я пригожусь,
пока горю,
я пригожусь,
пока горяч!»

А вы опять
в тишайший плач.

О, этот плач,
ваш женский плач!
Я был царем,
а стал палач.
И холод слов моих,
как нож,
и правды в нас -
на медный грош.

Но этот грош в такой цене!
Не разменять
ни вам,
ни мне.

* * *

Снег идет.
Снег идет.
Беспредельно, бесконечно, нежно, медленно и
млечно,
вверх и вниз, легко и вечно –
снег идет.

Снег идет.
Снег идет.
Звездный дым. Седые крыши. Все светлей, нежней
и тише,
все стремительней и выше –
снег идет.

Снег идет.
Снег идет.
Белым лбом прижавшись к раме, я теряюсь в этой
драме:
где я? в поле? или в храме? –
снег идет.

Снег идет.
Снег идет.
Нежно, медленно, беспечно, беспредельно,
бесконечно,
я люблю тебя, ты вечна.
Снег идет.

* * *

Будет время, и березы
вспыхнут желтою листвою
над раскрашенной морозом
полосой береговой,
и к стволу прижавшись ухом,
ты услышишь, как Луна
шепчет ласково и глухо
прямо в ночь.

А ночь нежна.

Будет время, и на поле,
где горит, дымя, ботва,
прорастут глухие колья,
распустившись, как трава,
и навзрыд пойдут осины
голосить, что так влажна
эта осень под гусиным
косяком.

А ночь нежна.

Будет время, и над взрывом
веток, листьев и травы
ты не справишься с порывом
сумасшедшей головы.
И не плакать. Не смеяться.
только слушать. Тишина.
И губами вновь касаться
глаз как звезд.

А ночь нежна.

* * *

Я много лет скитался
в краю сухих белил,
обламывая пальцы,
тропу свою торил,

и там, где низкий берег,
под шапкою лесов,
стрелял пушистых белок,
и грелся у костров.

Единственный хозяин,
закон тайги я знал:
ловушек зря не ставил
и зверя уважал,

но снег ложился густо,
стелил тропу мою,
и было пусто-пусто,
и грустно, как в раю.

Бранденбургский концерт № 1

Опять этот кантор из церкви святого Фомы
терзает педали забытого Богом органа.

А в Лейпциге ночь. И тяжелые влажные сны
плывут над кварталами, будто обрывки тумана.

Ночь гаснет и гаснет. Будь звезды, как свечи,
давно
по небу расползся бы матовый шлейф стеарина.

Саксонская ночь под готическим стынет окном
и черною кистью витраж покрывает рябина.

И движется ночь, как недели и годы, а мы
не можем понять, отчего это с гибелью схоже.

Храни же нас кантор из церкви святого Фомы,
и длись этот холод, так странно бегущий по коже.

Бранденбургский концерт № 4

Когда уже нечему больше случиться,
когда за окном ни звезды, ни просвета,
когда через ставни уже не пробиться
ни ветру, ни ливню, ни даже рассвету,
когда на столе засыхает посуда,
а сумерек даже огнем не прогонишь,
я жду тебя, кантор.

И вот оно – чудо! –
две флейты и скрипка
приходят на помощь.

Когда уже нечего больше услышать,
все сказано, спрошено, взято, забыто,
когда, как дожди по заржавленным крышам,
струится и плачет слепая обида,
когда даже память условна, как ссуда,
а боль ни словами, ни жестом не скроешь,
я жду тебя, кантор.

И вот оно – чудо! –
две флейты и скрипка
приходят на помощь.

Когда уже некому больше молиться,
когда ожидать нет ни веры, ни силы,
когда никуда от себя не укрыться,
а где-то настойчиво плачут клавиры,
и небо закрыто, и листья, как люди,
врываються в душу, и ты их не гонишь,
я жду тебя, кантор.

И вот оно – чудо! –
две флейты и скрипка
приходят на помощь.

Художник

Художник, написавший дивный лик
своей жены, давно с женой развелся.
Он странствовал. Искал. Любил. Боролся.
Ему под сорок. Он уже старик.

Всего достигнув, он живет в глуши.
Забыты надоевшие тирады
о вечном нетерпении души.
Он просто добр.
И этому все рады.

Он бродит по дорожкам. Дрогнет лист -
он восхищен. Он слушает, как птица
поет и плачет. Хочется молиться
тому, что мир и трепетен, и чист.

И все-таки бывает, что рука
вдруг ноет, ноет. Тянется то к листьям,
то к лужам, в них проходят облака,
то обречено – к выброшенным кистям.

И сердце начинает замирать:
взять кисть, вернуть любовь и наслажденье,
вернуть давно ушедшее виденье,
воскреснуть, и блаженно умирать!

Но он молчит. Он все узнал давно.
Не пламя в нем, а только трепетанье.
И все-таки томит его желанье –
вновь женщину вернуть на полотно.

Как жаль,
он написал ее давно.

* * *

Непрозрачные витражи,
над фронтонами свет и тени.

Окна, улицы, этажи,
темный сонм голубых растений,

И идущий опять, опять,
полосующий стены зданий –

дождь, который нельзя понять,
не имея воспоминаний.

Разрыв

Как в воду канули записки и по воде бегут круги.
Тот берег только что был близким, но вот – не
дотянуть руки.

Течет. Уходит. Панорама скользит, развернутая
вкось.
Как будто крикнул в своды храма,
а эхо не отозвалось.

Заметки на полях

И все-таки судьба уgomонилась.
Пусть ненароком, будто невзначай,
она сменила божий гнев на милость,
а горечь соли - на крепчайший чай.

И за тоску потерь и одиночеств
я награжден, как и хотелось мне,
признаньем женщин, ласковых пророчиц,
что втайне славу предрекали мне.

Теперь я знаю, мне хватило силы,
никто не скажет, как не о бойце.
Бессилие, что так вчера бесило,
оставило лишь тени на лице.

И задыхаясь, зная, так бывает,
я повторяю давнюю строфу:
*«От радостных вестей не умирают,
а горестные я переживу.»*

День похищения

...Ты, наверное, была
в белых глыбах риолита,
привезенного вчера.

Или в лиственничных перьях,
или в школьной городьбе,
в облаках,
в дожде,
в капели,
в Солнце,
в птицах,
и в судьбе.

Фиолетовое небо в раме ясного окна.

Ты была тогда и в этом.
И стояла тишина.

Да такая,
что на небе,
на земле и на воде
тосковали не о хлебе,
тосковали о тебе.

Тосковали все -
машины,
люди,
вещи,
чудеса,
отдаленные вершины
и ближайшие леса.

Зависть правила мирами,
потому что, бросив страх,
ты с утра уже сияла
и цвела в моих руках.

* * *

Не надо музыки. Не надо!
Пусть лучше дождик моросит.

Туман.
Строения.
Ограда.
В окошке свет.
Ребенок спит.

Он тихо спит.
Он сонно дышит.
Блаженно и легко сопит.

Мне скажут:
«Так давно не пишут.»
А я скажу:
«Ребенок спит.»

* * *

*Тайной вечера глаз
знает много Нева.
В. Х.*

Все утро небо плакало,
лишь к вечеру устало.

О, как в саду Елагином
тебя мне не хватало!

Аукнулось на Прачечном,
откликнулось у Летнего,
в котором нами начато
неконченное лето.

Опять вдали аукнулось,
а я не откликался.
По темным переулкам
всю ночь, как ветер, шлялся.

Темные решетки
в золотых обводах.
И лодки,
лодки,
лодки
на потемневших водах.

И небо вправду плакало,
и был мне ведом страх.

Ведь дело не в Елагином.
*Еже писах –
писах.*

Пляжи на рассвете

Магнетиты, что сажа, а кальциты, что сахар.
Прополосканы пляжи, как цветная рубаха.

Косы пеной одеты, облака, что гусыни.
Ах, на пляжах рассветы, что рассветы в пустыне!

На любом километре волн косматая толочь.
И в рассеянном ветре океанская горечь.

Малайские строфы

Илистые прыгуны возятся в водах отлива.
Малаккский пролив придавлен тысячетонной жарой.

В небе беззвучном оранжево-огненный рой –
атомный взрыв,
прожигающий чрево мира.

Дикие, высветленные, обесцвеченные края,
косоугольные джонки скользят над бездонной
рябью.

Голый утес поднимается, как корабль.
Только все это, думаю, зря.

Боже, как странно, как долго стоят года,
сердце сосет злая рыжая дымка.
Если тут что-то и движется, то, конечно, только
вода –
тысячетонная невидимка.

Воздух горчит, как соль. Видно, и впрямь пора
каждую тварь разъять, как встарь, поделить на
пары.

Огненный рой... Пожар... Ослепляющая жара...

Но пух тополей!
Деревянные тротуары!

Масштаб

От древнего кургана
до гиблого болота;

от чайного стакана
до чаши с позолотой;

от томского забора
до стен горячей Кушки;

от Домского собора
до крошечной церквушки;

от розы искушения
до прозы из трактира;

от мироощущения
до ощущенья мира.

Полдень

Дым костра разметало ветром,
и печальный таежный дрозд
мне вещает о километрах,
отделивших меня от звезд.
И плывут среди рыжих сосен,
над упругой щетиной мхов,
ароматы таежных весен,
можжевельников
и стихов.

Тишина.
Только где-то эхо
на вершинах гудит сухих.
Да заходятся дальним смехом
непутевые петухи.
Да клубится в пыли дорожной,
над славянской вязью полей,
удивительный и тревожный
серебристый пух тополей.

* * *

Снег над крышами летит,
притворяясь невесомым.
Над огромным, мирным, сонным
миром
снег
с небес
летит.

Он ложится на коньки,
на балконы, на крылечки.
В ночь дымят сто тысяч печек,
не видать во мгле ни зги.

Но по шороху, по тьме,
сквозь которую, как лоси,
ветер рвется, снег проносит,
слышно, этот снег извне.

Ничего светлее нет,
чем снега, что в ночь упали.
Полночь, как на сеновале,
и небесный брезжит свет.

А потом рассвет, лучи,
разгоняющие время.
Спят деревья, но не дремлет
снег, летящий из ночи.

Он летит густой-густой,
ослепительный и длинный,
очень древний, очень мирный,
и, как время, молодой.

Над угором, над ручьем,
над глубоким санным следом,
над безбрежным белым светом,
впереди и за плечом –

снег, огромный белый снег!
Нежно,
медленно,
упорно,
как мелодия из горна,
прямо в двадцатый первый век!

Он летит, летит, летит,
он взвивается, он вьется.

И как песня с неба льется,
и как глас с небес звучит:

«Будь прекрасен, Человек!
Будь, как утро, безупречен!»
Мы проходим.
Время вечно.

Дым.
Снег.

Берега Южного Итурупа

А море вновь оставило богатства
неведомые. Кто их стережет?
Медведь, что роет груды ламинарий?
Или баклан, что сер, как птеродактиль?
Или огромный сивуч в белых шрамах,
похожий на немецкого студента -
задиру, хама, дуэлянта?..

Я собираю банки и бутылки,
сдираю с них цветные этикетки,
откручиваю пробки с плоских фляжек,
рунические знаки на которых
мне говорят о старых крепких винах,
которых я не пробовал...

Мой остров пуст, плывут по горизонту
на паруса похожие обрывки
далеких туч, но мой корабль не виден,
и я дружу с бакланом и с медведем,
и с сивучем вступаю в перебранку.
Ах, как он пуст, мой остров!
Как он прост!..

Я так хотел найти его пустыню,
дарящую покой и удивленье.
И вот нашел.
Рассвет.
Глухие взрывы
Прибоя
всюду
рушат
тишину
и окаймляют вотчину мою
зеленой пеной...

P. S.

Медведь. Баклан. Валы песков на пляже.
Ободранный водой и ветром куст.
Я вздрагиваю как участник кражи –
нет, мир не прост,
скорее
просто
пуст.

* * *

Броди, смотри, как лезет лебеда,
как прет сирень подобием тарана.

Твоя любовь, конечно, не беда,
хотя саднит, как рубленая рана.

Коснись рукой – под пальцем дрогнет синь,
ступи ногой и – глина, камни, трепел.

Твоя любовь, конечно, из святынь
и никогда не обратится в пепел.

Броди, смотри, как бьет в ключах вода,
как рвутся реки – кони разной масти.

Твоя любовь, конечно, не беда,
как все, что ветром выбито на насте.

Миле Доротеевой

Как жаль, что вы не видели океана,
этой дымно сгустившейся, но прозрачной мглы,
медленно выкатывающейся из тумана
на базальтовые углы.

Мот, он разбрасывает груды кораллов,
листы ламинарий, скелеты морских ежей,
перья высохших крабов, обрывки потерянных
тралов,
поплавки –
рассвета нежней.

Скопидом, он прячет свои богатства
в камни, в грохот, в пучину, куда-то на скальное
дно,
в мир погибших надежд, в мир какого-то странного
братства
чаек, волн, кораблей –
всех, кто с ним заодно.

Как жаль, что вы не видели океана,
как, начавшись пластинами ало прозрачной слюды,
он лениво и медленно выкатывается
из тумана,
посмотреть
на мои следы.

Памяти А.А. Ахматовой

В преддверье Финляндии осень похожа на пляску
дождя или листьев, листвы или ветра. Повсюду
печальные лужи, коренья, как в темную маску
сокрытые в вечную тягу к неясному чуду.

Огромная тишь. Только поезд промчится. Но редко.
Капель удивленно гранитную статую точит.
И всюду пылают такие багровые ветки,
как будто бы сердце мое до сих пор кровоточит.

* * *

Обещают – сломишь шею!
Я верчусь, как юный бес,
но предчувствие крушений
неуклонно гонит в лес.

Сосны давят рыжей грудью
и стеной встают кусты.
Известковое безлюдье,
ледниковые мосты.

Я герой холста немного,
я почти неуловим.
Ухожу, и снова, снова
рвусь сквозь ясный белый дым.

Только стелется морозный
след мой – вечное кольцо,
да стеклянные занозы
раздирают мне лицо.

* * *

Дай мне Бог понять, принять, проснуться
и отринуть даже крохи сна,
чтоб увидеть: снова тишина,
и, поняв, уже не отвернуться,
а рукой притронуться к плечу
и сказать, не думая о горе:

«Ты похожа на большое море.
Я тебя по-прежнему хочу».

Засмеешься.
Утро – до небес.
Скажешь: «Поздно. Снег уже ложится.
До зимы – одна неделя жизни.
Не осталось время для чудес.»

Дацитовые купола

Опять отшельником брожу
в лесах, раздетых донага,
листву ногами ворошу,
спускаюсь в низкие лога,
в которых за ручьем ручей,
а в них, меж темных донных глыб,
скользят, как лезвия мечей,
косые силуэты рыб.

А надо мной встают вдали,
ободранные до гола
в пути сквозь скорлупу Земли,
дацитовые купола.

Встают, раздвинув рыжий лес,
и слышно, как в тиши немой
летят созвездия с небес
почти над самой головой.

Я не ловлю их. Что мне в том?
Не в небо ж их бросать опять.
Пусть лучше встанут надо мхом
косые столбики опят,
а листья, медленно кружась,
укажут путь, подскажут срок...

Лесов языческую вязь
я положу на твой порог.
Чтоб ты забыла темный страх
пред сказкой, что, как соль, бела,
и видела в своих лесах –
дацитовые купола.

* * *

Ночь. Река. Луна. Весло.
Холод. Утро. Солнце.

Думал: кончилось, ушло,
больше не вернется.

Оттрясло – не повторить,
лёгок как бумажка.

Так зачем же говорить:
снова будет тяжко.

И зачем, как синий гвоздь,
над ночным карнизом
луч звезды идет?
Насквозь
светом
Мир
пронизан.

И опять, опять, опять,
все опять, как прежде:

«39-45!
Позвони Надежде!»

Большие снега

Мир покрывают снег и тишина.
Мы как на дне огромного колодца.

Столь ясен свет, что можно уколоться
о луч звезды.

Высокая Луна
давным-давно стянула кольца луж
резным стеклом. Застыла меж деревьев.

Забито небо сонмом темных перьев.

Свет фонарей – как отсвет райских кущ.

В больших снегах мы ждем больших снегов.
Мир выстужен как проходные залы.

Лишь наши пальцы,
теплые кристаллы,
в мир излучают
вечную
любовь.

* * *

То ль мираж, то ли впрямь олень,
и опять до небес пустынно.
Я иду. А со мною тень.
На увалах базальты стынут.

Кочки,
Камни,
глухие мхи,
да озера – чернее сажи.

Так и входят в мои стихи
эти северные пейзажи.

* * *

Женщины,
которых мы покидаем внезапно,
совсем внезапно, не по своей вине,
остаются не в прошлом, а в некоем странном
завтра,
как портрет, что выставлен за стеклом в
окне.

Города,
которые мы оставляем сразу,
именно сразу, мучаясь и себя кляня,
остаются всегда тоской и вечной заразой,
в бездне грохота и огня.

И чего удивляться, что осень красит
за окнами небо, бесцельно и зло маня.
Остается лишь память,
и позолота слазит
с женщин и с городов,
но, прежде всего,
с меня.

* * *

Ко всему и ко всем
я тебя ревновал,
обмораживал сердце,
в аду побывал.

Шел по снежному следу,
задыхаясь и злясь,
все изведаль – неверие,
счастье и грязь.

Но чужого не трогал,
своего не хранил,
и, теряя дорогу,
вновь ее находил.

Никуда мне не скрыться,
и себя не забыть.

Мне пришлось покориться,
чтоб тебя покорить.

* * *

Непрозрачные витражи,
над фронтонами свет и тени.
Окна, улицы, этажи,
темный сонм голубых растений,

и идущий опять, опять,
полосующий стены зданий –
дождь, который нельзя понять,
не имея воспоминаний.

* * *

Собираю карты,
старые географические карты,
те, на которых моря и горы,
проливы и величественные плоскогорья
всё еще принадлежат
нашим далеким предкам.

Слежу течения
извилистых долгих рек,
брожу по чужим столицам.
Где они: *Жизнь, Здоровье, Сила* –
держатели гаремов,
водители
великих
армад?

За окном сосед ругается:
Опять протекла крыша.

* * *

Когда в Несебыре печаль,
тускнеет даже черепица,
и женщины скрывают лица
в печаль, как в шелковую шаль.

И возле каменных ворот,
не пряча горестной печали,
толпятся траурные шали,
молчит в молчании народ.

И я тоской их опечален
и мне невыразимо жаль,
что с городом печальных чаек
соединила нас печаль,

а дребезжание сверчка
плывет из голубых растений,
как опечаленное пенье
черноволосого дьячка...

Прости, я знаю, все уйдет,
и с солнечного тротуара
мы спустимся, как в темный грот,
в печаль запущенного бара.

Несебыр горестен и мил,
его мельчайшие печали
меня печалют, как печали
печалили бы целый мир.

Памяти Ю.М. Магалифа

Юрий Михайлович мне говорит:
«Водочки, Геночка, в чашку налейте.»
Тянет желудок,
сердце болит,
в окнах не море, не Родос, не Крит,
окна распахнуты в палеолит, –

а Пан играет на флейте.

Серый забор и «скворечник» над ним.
Злая колючка. Костры. «Не жалейте».
Чад переклички,
лагерный дым,
нимб над колючкой – сияющий нимб,
«В лагере легче трубить молодым», –

а Пан играет на флейте

Юрий Михайлович жмурится: «Съем
эту сосиску. А вы мне подлейте».
Жизнь коротка,
перегружен модем,
бездна крутящихся в памяти тем,
дымный безбожный далекий Эдем, –

а Пан играет на флейте.

* * *

Огонь в печи полено гложет,
распространя тихий свет.
И будущего быть не может,
поскольку прошлого в нем нет.

Но листья, листья, как сугробы,
бег ветра сердцу в унисон!
И сладко спать так близко, чтобы
один и тот же снился сон.

(в больнице)

Нету истины в вине.
Ты один себе Спасатель.

И на ощупь выключатель
ты находишь на стене.

Нежный, снежный, вьюжный звон,
замерзающее пламя,
обращая время в память
наплывает смутный сон.

Где-то плещется весло,
пахнет золотом и небом.
И раскручено под небом
смотровое колесо.

Ах, сжимается в груди! –
Вот оно наверх поплыло.
Сразу видно всё, что было
Всё, что будет впереди...

Но как тайная пометка,
ведомая только мне,
стынет медленная ветка
в обесцвеченном окне.

* * *

Все, что угодно, приснится, а ты
даже не снишься, – тебе не пристало.

Горечью пахнут ночные цветы,
будто без этого горечи мало.

Долгая память. Глухое вино.
Что с нами было? И что с нами стало?

Горечью звездное небо полно,
будто без этого горечи мало.

Снежное утро.
Возвышенный лес.
Белые тени. Природа устала.
Снегом заносит эпоху чудес,
будто без этого горечи мало.

**Вулкан Богдана Хмельницкого.
Баллада о спящем боге**

Богдан угрюм.
Богдан колодник.
Его тайфунами колотит.

С подошвы к пику
его укрыли
шиповник, ирис
и лилий крылья.

А сверху шапкой
навис сугроб,
коронай шаткой
венчая лоб.

Богдан колодник.
Он не раскаялся.
Как зверь голодный,
он выл и плавился.
И нерпой в пламени
стонало дерево,
и айны плакали,
сбегая к берегу.

За их спиною
в слепом экстазе
над фумаролами
клубились газы,
и руки взрывов
вставали в небо,
застлав полмира
слепящим пеплом.

Но годы, годы...
Но старость, старость...

Пришли невзгоды,
пришла усталость.
И голый череп
в парик упрятав,
Богдан нацелен
в ночную вату.
Сияет сажей,
сияет серой.

Как богу спящему
ему не верят.

А мне – по нраву.
Богдан – по мне!

Вершиной рваной
припал к Луне.

* * *

Разор души, глухая боль –
не будь их, как бы мне случилось
понять, что нам даны, как милость,
и жар любви,
и звёзд прибой,

и небо, и высокий бег
ракеты, вспыхнувшей над молотом,
и удивление пред вздором,
которым дышит человек,

и тот, ещё грядущий мир,
где даже вечность не утрата,
где все мы созваны на пир,
с которого нам
нет возврата.

* * *

Осень моя пьяная – мой Ирбит.
Рябиновый, каменный, в глазах рябит.

Светлая, синяя, как стекло, Ница
веткою рябиновой
манит сойти с крыльца.

Ветерком гонимые летят с реки
кольца голубые радуги-дуги.

Кольца эти с пальцев Ницы не снять.
А Ирбит шатается, не желает спать.

Ярмарочный, обморочный, пьяный вдрызг,
баночный, бутылочный, слепой от искр,
брошенный в Ирбитку –
утонет? сгорит? –
пьяною кибиткою
летит Ирбит.

* * *

В лучшей из своих книг
я поместил бы слова ассирийцев:

*Ты,
Который в Будущем, –
читай эти письма,
начертанные на вечных скалах,
и ничего не разрушай
и не трогай.*

* * *

Я заблудился в Бухаре,
в ее горбатых переулках,
где эхо медленно и гулко
тонуло в каменном дворе,
где наплывал тяжелый жар
подобьем темного тумана,
и узкий минарет Каляна,
как выстрел, небо разрывал.

Глазурь, керамика, пески,
зови, никто не отзовется.
Лишь пыль мучнистая взовьется,
чтоб отбелить тебе виски,
да в смутной пыльной тишине,
зевая скучно, как безбожник,
привстанет медленно художник,
проспавший Вечность на стене.

* * *

В июле зной невыразим,
листва меняет цвет и запах.
Раскачиваясь, как на лапах,
стоит по горизонту дым.

От пыли кажется седым
засохший мох на старых скатах.
Вода рычит на перекатах,
и сладостно быть молодым.

Мир сказочен, как гипподром,
и будущее только снится.
И что-то обещает птица,
и лето длится, длится, длится.
И, как рассерженная львица,
рокошет над лесами гром.

* * *

Я знаю, что отныне так и будет:
с утра пожар,
под вечер – теплый дождь.
Осудят нас?
Пускай.
Нас не убудет.
Ведь истина пережигает ложь.

Мы вечны.
Мы взломали наши клетки.
Мы бег звезды.
Мы щедрый дар полям.

Нам яблоко судьба протянет с ветки,
мы и его поделим пополам.

Посвящение

У любви гусиная кожа, а глаза широко открыты.
Обещать и пугать умеет, обещать и терпеть умеет.
Как мальчишка, молчу и верю, что сейчас под
широкой елью
голос вспыхнет, шаги услышу
и уйти уже не посмею.

Тишина. Только птица рада закричать и умолкнуть
снова.
Ты боишься прийти? Не надо. Кто посмеет в нас
бросить слово?
Ты не тронула, не украла, не унизила сердце
ложью,
не попала чужого права,
ведь дающий отнять не может.

У любви гусиная кожа, а глаза широко открыты.
Обещать и пугать умеет, обещать и терпеть умеет.
Жду и верю.
А ночь как улица.
Фонари вдоль неё сутулятся.
И то вспыхнут, то вдруг осядут,
но совсем погаснуть не смеют.

Китайская баллада

Арктус фон Титус – кочующий иезуит,
продранный плащ украшен седыми перьями.
Гнев проповедника нам и сейчас грозит
сквозь смутную тьму тоски, невежества и неверья.

С подвижниками ему, впрочем, не повезло:
яркий мазок, нанесённый без кисти.
Руками туземцев давил он вечное зло
в диком Китае – в короткой своей экзисте.

Язычников робких он посылал на костёр,
лапы костра шевелились, как лапы краба.
Однажды он плакал над пеплом желтых сестёр,
но слезы его никто не принимал за слабость.

Пепел сожженных легко затмевает свет.
Господь терпелив, пока молчит его паства.
Но если ты всё-таки путаешь *да* и *нет*,
приходит бессилье, давящее, как астма.

В южном Китае довольно пространств пустых,
там ветром разносит пыль, просеянную веками.
И, в общем, Господь недолго терпит святых,
творящих добро не собственными руками.

Но именем Арктуса названы две звезды:

1) синий квазар, прожигающий тьму Вселенной,

2) сгусток нейтронной тьмы, –

невидимые мосты,

живущие в рассказах уже шестого колена.

Простим астрономам романтику тех эпох:

Арктус фон Титус внесён в каталог созвездий.

Выдуман порох, монах расщепил горох,

Дао-буддизм живёт на страницах «Известий».

Но в нежном провале горячих глухих пустынь,

жёлтую пыль и тёмную синь глотая,

две ярких звезды,

как вечные Ян и Инь,

дрожат и пылают над южным краем Китая.

* * *

За то, что эта жизнь нам удалась,
за то, что руки пустоты не знали,
за то, что нас любили и встречали,
а потому распространяли власть
на бег звезды,
на белые снега,
на синий лес,
на музыку из комнат, –
мы будем вечно чувствовать и помнить
слова и руки,
руки и слова.

вместо вступления

Гулёна

Как тебе аукнется...

О, как ты боролась с большим моим ростом...

Провинция

Петропавловск летом 1959 года

Астерикс

Ли Тай-бо

Стихи Байрону

Возвращение

Встреча с Назымом Хикметом

О, эта деревня стоила всех чудес...

Промолчит лес...

Тишина не ушла...

Темно. Трава...

Холод трогает суставы...

О, я без вас...

Снег идет...

Будет время, и березы...

Я много лет скитался...

Бранденбургский концерт № 1

Бранденбургский концерт № 4

Художник

Непрозрачные витражи...

Разрыв

Заметки на полях

День похищения

Не надо музыки. Не надо...

Тайной вечера глаз...

Пляжи на рассвете

Малайские строфы

Масштаб

Полдень

Снег над крышами летит...

Берега Южного Итурупа

Броди, смотри, как лезет лебеда...

Миле Доротеевой

Памяти А.А. Ахматовой
Обещают – сломишь шею...
Дай мне Бог понять, принять, проснуться...
Дацитовые купола
Ночь. Река. Луна. Весло...
Большие снега
То ль мираж, то ли впрямь олень...
Женщины, которых мы покидаем внезапно...
Непрозрачные витражи...
Собираю карты...
Когда в Несебыре печаль...
Памяти Ю.М. Магалифа
Огонь в печи полено гложет...
(в больнице)
Все, что угодно, приснится, а ты...
Вулкан Богдана Хмельницкого.
Разор души, глухая боль...
Осень моя пьяная – мой Ирбит...
В лучшей из своих книг...
Я заблудился в Бухаре...
В июле зной невыразим...
Я знаю, что отныне так и будет...
Посвящение
Китайская баллада
За то, что эта жизнь нам удалась...

Геннадий Прашкевич
ЗОЛОТОЙ ДЫМ